

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002 >

РОМАН №10 ГАЗЕТА

Николай Самохин / Сходить на войну





САМОХИН Николай Яковлевич (1 августа 1934 – 11 января 1989)

Советский писатель, журналист, работал в жанре сатиры и юмористической прозы. Автор двух десятков книг.

Родился в селе Утянка Хабаровского района Алтайского края. Детство провёл на рабочих окраинах Новокузнецка. Окончил с отличием Новосибирский институт водного транспорта. Работал в проектно-институте, мастером и прорабом на строительстве Новосибирского Академгородка. Одновременно начал писать журналистом для ряда изданий, был собкором «Литературной газеты», ответственным секретарём журнала «Сибирские огни». За социальную сатиру «Повесть о том, как один генерал двух мужиков не смог прокормить» командование Сибирского военного округа разжаловало старшего лейтенанта запаса Самохина в рядовые запаса.

Первая книга «2000 колумбов» вышла в 1963 году.

Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.

На доме на ул. Сибирской в Новосибирске, где жил последние годы Самохин, установлена мемориальная доска.



Круг Судьбы Николая Самохина

Редкому писателю, особенно живущему в провинции, выпадает при жизни слава и читательская любовь. Нет, не подумайте о современных литературных премиях, шумихе в интернете и прочих атрибутах нынешнего успеха. Совсем наоборот. Не было, по большому счету, ни премий, ни хвалебных рецензий, ни многочисленных интервью по поводу и без него, зато имелось значительно большее, а именно — читательская любовь и слава.

Сибиряк Николай Самохин в этом отношении был счастливым автором. Книги его, выходявшие довольно регулярно, как в Новосибирске, так и в Москве, до прилавков книжных магазинов, как правило, не доходили, в библиотеках за ними выстраивались очереди, а почитатели его таланта в разговорах нередко цитировали наиболее запомнившиеся фразы, как цитируют до сих пор реплики из замечательных советских комедий.

Может быть, это прозвучит пафосно (сам Николай Яковлевич пафоса не любил), но я все-таки убежден в том, что он был народным писателем. И не потому, что стремился таковым быть или старался под-

строиться под читательские вкусы, а потому, что произведения его диктовались исключительно собственной судьбой. Он никогда не фантазировал и не «сочинял», он всегда шел от реальной жизни, той самой, какой ему самому и его героям довелось жить. Полуголодное военное и послевоенное детство на окраине шахтерского городка в Кузбассе, на улице Аульской, институт, романтика шестидесятых годов, журналистика, первые рассказы, первые книги, работа в редакции журнала «Сибирские огни» и собственным корреспондентом «Литературной газеты» — все это становилось его личным опытом, и он всегда оставался ему верным. Николай Самохин писал лишь о том, что знал доподлинно, что видел своими глазами, а в итоге оказывалось, что он писал о многих и многих людях, своих современниках, которые так искренне и горячо отзывались на его творчество.

Он писал, если так можно выразиться, не придуманную жизнь — такую, какой она и была во всей простоте и сложности. «Своей держался — угловатой, неподрумяненной строки», — это из его стихотворения. Ключевое слово здесь — «неподру-

мяненной». Николай Самохин ничего не хотел и не желал приукрашивать, даже тогда, когда от него этого требовали. Упорно стоял на своем. И вспыхивал, сердито и даже яростно, когда сталкивался с ложью, с хитростью, с обманом — со всеми этими «румянами», каковых имелось в избытке. Друзья в шутку называли его «очернителем». На самом деле никакого очернения не было и в помине, иное всегда двигало им — страстное желание справедливости и честности.

Таковыми же были и его герои, по большей части не придуманные, а реальные люди. И вот к ним, казалось бы, приземленным, святым и грешным одновременно, Николай Самохин возвращался вновь и вновь. Впрочем, он сам написал об этом в предисловии к одной из своих книг: «Но, как видно, сама по себе жила еще и растревоженная память. И она подсказывала, что там, в «стране детства», на окраинной моей при заводской улочке, босоногий, полуголодный мальчишка был не единственным и не главным героем. Там бедовали вдовы, стучали костылями фронтовики, ютились эвакуированные. Там жили мои отец и

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная коллегия:

Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный редактор
Елена Русакова

В оформлении обложки

использованы
фрагменты картин
Валентина Сидорова

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2021
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2021 №10 /1879/ Основана в 1927 г.

Николай Самохин

Сходить на войну

Рассказы о прежней жизни

Вместо предисловия

Мой отец был великолепным рассказчиком. Не то чтобы он здорово владел словом. Нет. Речь его скорее была бедна. Но отец так умел помочь себе руками, ногами, глазами, что истории его оживали, становились зримыми и запоминались навсегда. Он буквально рисовал их. Допустим, рассказывает он о каком-нибудь фронтовом случае и, по ходу сюжета, надо ему упомянуть, что в такой-то момент он полз попластунски. Так он, бывало, не просто скажет: «И тут я, значит, пополз», — а непременно ляжет на пол и, буровя половики, проползет. А если при этом в правой руке у него тогда находился автомат, то угреться он, будьте уверены, и теперь станет только левой.

Особенно любил отец вспоминать о прежней деревенской жизни. Жизнь эта в его описании получалась необыкновенно ядерной и сочной. Туманы там падали белые как молоко, град хлестал исключительно с куриное яйцо, телята родились величину с годовалого бычка, а мужики играючи кидали на бричку пятипудовые мешки. Отец не признавал полутонов.

Долгое время я был уверен, что отец либо сочиняет все свои истории, либо основательно привирает. Один случай резко поколебал эту мою уверенность.

Не помню уж, по какому поводу, происходила у нас дома крупная гулянка, и я ушел в этот вечер ночевать к товарищу. Вернулся только утром, вместе с приятелем, и никого из гостей уже не застал. За разгромленным столом сидел только младший брат отца дядя Паша и, положив голову на руки, спал. Так обычно кончались все дяди-Пашины праздники. Быстренько напившись, он какое-то время свирепо кричал песни, забывая напрочь других желающих, а потом прямо за столом засыпал. Вообще, по приговору всех родственников, дядя Паша был нехороший человек: хватун, пьяница и задира. Пил он, правда, не шибко часто, но уж до такой степени, пока — как говорила моя мать — «под собой не побачит». А задраться мог по любому поводу — лишь бы только поспорить.

Вот и теперь, проснувшись, дядя Паша сразу нашел, к чему прицепиться.

— Ты что же, спортсмен? — насмешливо спросил он моего товарища, заметив на нем тренировочный костюм.

— Да ну, — засмушался тот. — Я — что. Вон Колька — это да!

— Колька? — Дядя Паша не поверил. — Куда ему — он слабак.

— Ничего себе — слабак! — обиделся за меня товарищ. — В пятерке лучших бегунов района. Слабак!

— Хм! — повернулся ко мне дядя Паша. — А я тебя, Миколай, обьягу.

Мне тогда только что исполнилось восемнадцать лет. Под загорелой кожей моей перекачивались нетерпеливые мускулы, тренированные легкие работали как мехи. И я действительно был одним из лучших бегунов в районе. Поэтому я даже не удостоил дядю Пашу ответом, а только усмехнулся.

— Ты не скалься! — завелся дядя Паша. — Давай сымай штаны. Небось ты в трусиках привык соревноваться.

— Может, в другой раз, — сказал я. — Вы сегодня тяжелый.

— А я тебя и тяжелый обьягу. Спорим на поллитра.

Товарищ незаметно толкнул меня в бок. Водку мы не пили, но выпорить у дяди Паши бутылку представлялось забавным.

— А куда побежим? — спросил я.

Дядя Паша прищурился:

— Ну хоть до свата Ивана — и обратно.

— Далеко это? — поинтересовался мой товарищ.

— Километров пять, — ответил я.

Товарищ присвистнул. Из кухни выглянула мать и заругалась на меня:

— Вот я тебе посвищу в избе, черт голенастый!

— Анна, — остановил ее дядя Паша, — налей-ка там мне...

Мать с недовольным видом принесла дяде Паше водки в граненом стакане. Он выпил, понюхал засохший селедочный хвостик, скрутил толстенную сигарку и задымил.

— Сымай, сымай штаны-то, — издевался дядя Паша между приступами кашля. — Да руками помаши. А то задвохнешься, не дай бог.

Бежать все же решили одетыми: дядя Паша — потому что под штанами у него были кальсоны, а я — из солидарности.

Вышли за калитку, и товарищ, взявшийся посудить, провел поперек улицы стартовую черту.

— Погодь маленько, — сказал дядя Паша. — Курнуть надо.

Он привалился спиной к воротному столбу и скрутил еще одну великанскую папиросу. Курил на этот раз дядя Паша неторопливо, обстоятельно, впрок. Только когда крохотный окурочок стал жечь губы, дядя Паша затоптал его. «Давай!» — махнул он рукой.

Я принял высокую стойку, как при старте на длинные дистанции. Дядя Паша выставил вперед левое плечо, а правую руку, сжатую в кулак, отвел за

спину — будто драться собрался. Товарищ скомандовал: «Марш!» — и мы побежали.

Улица наша Аульская (с одной стороны, по косогору, — низкие насыпи, с другой — длинный забор Алюминиевого завода) тянулась мелкими ложбинками — бежать по ней было трудно. Только не мне, разумеется, привыкшему к кроссам по пересеченной местности. Я действовал по науке. Перед спусками «выключал сцепление» и шел вниз широким, маховым шагом. Подъемы же брал коротким ударным, до отказа работая руками. Как бежал дядя Паша, мне было не видно, но сапоги его настойчиво бухали в двух метрах за спиной. Один раз он даже приналег, поравнялся со мной и сделал замечание:

— Ты... бежи ровней... не суетися.

И снова приотстал.

Мы пробежали метров пятьсот... восемьсот... километр.

Дядя Паша все не отставал.

А в моей голове росло недоумение. Как же так?! Ведь ему сорок восемь лет. До полуночи он гулял, а потом, опьянев, спал, сидя за столом. Выхлестал на тошак чуть не стакан водки, искурил горсть самосаду. Елки-палки!.. А в сорок третьем году дядя Паша вернулся с фронта на костылях. Он был сапером и подорвался на собственной mine. Ноги его были сплошь в длинных черных струпьях. Он тогда охотно показывал их всем желающим — засучивал штанины и разрешал пересчитать раны: девятнадцать шрамов, не считая отсеченного мизинца на левой ноге!.. Года полтора дядя Паша ходил в инвалидах, торговал на базаре папиросами «Северная Пальмира» поштучно, пьянствовал, куражился и бил костылями тыловых крыс.

И вот теперь, на этих самых ногах, похмельный, накурившийся, дядя Паша гнался за мной, второзрядником, — и не отставал.

Я пожалел его и чуть сбавил темп.

Дядя Паша немедленно захрипел возле самого уха.

Пришлось снова прибавить.

Улица закончилась крутым и длинным спуском к согре¹. Затем потянулись извилистые деревянные мостки, проложенные через топь, на противоположном краю которой виднелся уже дом Ивана Захаровича — свата Ивана.

Моим резиновым тапочкам осклизлые мостки были не страшны. А дяди-Пашины кирзачи разъехались, он оступился и увяз в болоте.

— Стоп! — закричал он. — Стоп!.. Твоя взяла, Миколай!

Я оглянулся. Дядя Паша стоял на одной ноге, держа другую — в грязной белой портянке — на весу.

Мы вытащили из болота его сапог и пошли обратно. Я громко хвалил дяди-Пашин талант. Дядя

¹ Заболоченная кочковатая местность в пойме реки.

Паша — все же он очень устал — опять курил, отхаркивался и загадочно хмыкал.

Вечером я рассказал про это событие отцу.

— А ты как думал? — ничуть не удивился отец. — Да ты с кем схватился — соображаешь?.. С Павлом! — Он начал привычно возбуждаться. — Да Павло знаешь как, еще когда в парнях ходил!.. Бывало, отчертомелит на пашне день, а потом сапоги веревочкой свяжет, кинет через плечо — и подался в деревню, на вечерки. Бегом! А двенадцать верст, слава богу! За ночь нагуляется там, напляшется, а чуть свет — обратно... Сосед наш по займке, Кузьма Митрохин, рассказывал: трогаю, говорит, один раз от землянки и вижу, будто кто-то из ваших побег на большак. По ухватке — вроде как Пашка. Ну, я кнут из-под себя выдернул — и по лошадям. Догоню, думаю, парня — подвезу. Пока на большак выскочил — его, черта, уже не видать. Дак веришь? — до самой деревни понужал, кнута из рук не выпускал — так и не догнал! На паре коней! А лошади какие! — совсем уже восторженно закончил отец. — Львы!..

Вот тогда я и подумал впервые, что, может быть, истории отца не столь уж неправдоподобны.

С тех пор прошло много лет. Давно нет отца, а дядя Паша стал вовсе старым — сгорбился, поседел и высох. Теперь, когда я вспоминаю иногда тот его подвиг, дядя Паша искренне удивляется, крутит головой и хлопает себя по тощим коленям. Он плохо слышит и поэтому, наверное, никак не может понять, что я рассказываю ему случай, героем которого был он сам. Дядя Паша не верит.

— Здоров ты брехать, Миколай! — говорит он.

А я с грустью думаю, что вот уходят один за другим старики, а вместе с ними и память о той, прежней жизни, так не похожей на нашу. О жизни, в которой чудно переплеталось разумное с нелепым, героическое с низким, смешное с трагическим. И все чаще у меня возникает желание поделиться своим небогатым наследством — пересказать некоторые истории отца. Пересказать в том виде, в котором сохранила их непрочная человеческая память, зная наперед, что правда в них основательно перемешалась с вымыслом. И все же не пытаюсь ради стройности будущего повествования придумывать отсутствующие события, штопать и надставлять чьи-нибудь биографии, искать скрытый смысл в делах и поступках необъяснимых.

Три рыжих коня

Никто толком не знает (и до сих пор, между прочим), почему в девятьсот четвертом году деда Дементия угнали на японскую войну. По всем законам, не

должны были его трогать. Дед (а тогда еще не дед, а просто Дементий Гришкин) числился единственным кормильцем, на его шее висело четверо детей — самому старшему, Григорию, было всего тринадцать лет. Пятым бабка Пелагея ходила беременная.

И все же факт остается фактом: взяли именно деда Дементия, а не кого-нибудь, допустим, из взрослых и неженатых сыновей Анплея Степановича.

Братья Гришкины, Дементий и Мосей, были мужиками крайне невезучими. Начать с того, что черт дернул их перенять от папаши своего ненужное ремесло: братья были кожемяками. Могли выделывать юфть и хром, овчину — под дуб и черно, сыромятину и спиртовые подошвы для сапог — в палец толщиной и твердые как железо. Но в родной их деревне на Тамбовщине сапог никто не носил, полушубков — тоже, а ходили все исключительно в лаптях и армяках. Даже ременная конская сбруя была у одного мельника. У остальных прочих сбруя была веревочная. Вообще, тамошние мужики кожу в руках держали только по несчастному случаю — когда у кого-нибудь падала корова. Но такой хозяин, по бедности, мастеров Гришкиных все равно не звал, а с горем пополам выделывал шкуру сам, после чего она начинала греть, как жестяной лист, и долго потом без пользы мокла на прясле.

От такой жизни братья Гришкины вконец отошались, засохли и решили податься в Сибирь — на вольные земли. Но и тут у них все вышло не как у людей. Добрые люди сначала посылали ходоков, потом долго собирались, копили деньги и ехали в Сибирь по чугунке или же на своих лошадях. Везли, понятное дело, весь скарб: чугуны, сковородки, гвозди, ухваты, сохи, шины железные для колес, колосники и противни. Гришкины мужики собрались в момент. Сколотили тележку на двух колесах, посадили в нее малых ребят Дементия, впряглись и покатали. Жена Дементия Пелагея, языкастая и нравная баба, подталкивала тележку сзади и срамила мужиков на чем свет стоит.

К осени добрались они до Урала и там зазимовали. Здесь искусство Гришкиных хорошо им подсобило. Всю зиму они выделывали кожи и получали за это пятак в день или половину скотской головы — на выбор. Дементий с Мосеем брали раз пятак, раз скотскую голову, накопили к весне на лошадь с телегой и тронулись дальше. На телеге теперь, кроме ребяташек, сидела Пелагея, успевшая в дороге родить и снова беременная.

И опять они ехали все лето и осень, вплоть до холодов, пока в один день не родила Пелагея и не сдохла лошадь. Случайное место это, где их настигла беда, называлось деревней Землянкой. Лежала деревня между речкой и озером. Налево, за речкой Бурлой, через сутки езды, начиналась глухая тайга; прямо тя-

нулась степь с частыми колками; направо, за топким озером, — степь с редкими колками; а за этой степью — совсем уже голая, и жили там не русские люди, а казахи, которых по-местному все называли киргизами. А вольной земли вокруг было столько, что хоть ртом ешь. Вот только никто эту землю для Гришкиных мужиков не вспахал, не засеял, и пришлось им, ввиду наступающей голодной зимы, опять пойти в работники.

Дед Дементий (все же нам удобнее так его называть) нанялся с женой к страшно богатому сибиряку Анплею Степановичу по прозвищу Кыргыз. Прозвали его так потому, что Анплей Степанович, хотя был и русский человек, землю не пахал, вовсе в здешних местах окиргизился, гонял табуны лошадей, общим числом до тысячи голов, сам из седла почти не вылезал, даже до ветру, как говорили, ездил верхом и с оружием.

Лошадей ему пасли киргизы, а Дементия Гришкина он взял для работы по дому и выделки кож. Дед Дементий оговорил условие: помимо другой платы — к весне коня. Дементий в Сибирь приехал не батрачить, а хозяйствовать, и у него при виде здешней целины руки зуделись.

— Коня, паря, лови хоть сейчас, — сказал Анплей Степанович. — После отработаешь.

Дед Дементий, однако, сейчас же ловить коня не стал, понимая, что зимой его не прокормишь, а ближе к весне напомнил хозяину про его обещание. Целый день он кружил возле косяка — высматривал. Жену так не выбирал, как лошадь. Но зато и выбрал. Пастух-киргиз заарканил ему могучую рыжую кобылу, с такой широкой спиной, что на ней можно было спать двоим, валетом.

Анплей Степанович, глянув на кобылу, только и сказал:

— У тебя, паря, губа не дура.

А больше ничего не сказал.

Примерно в это же время произошло одно вроде бы малозначительное событие. Пелагея, жена деда Дементия, пряла в доме у Анплея Степановича.

Пряла, проворно крутила веретено и еще проворнее трещала языком.

— Вот, матушка ты моя, — говорила она сытой ленивой хозяйке, — живешь ты за своим мужиком как за Господом Богом! — Говорила будто бы в одобрение, а по голосу ехидно, с подковыркой. — Гляжу я на тебя — такая ты гладкая да справная. И добра у тебя — черт на печь не затащит. Охо-хо-хо-хо, а мыто голые да разутые! Дементий мой — мешком ударенный: ни украсть, ни заработать...

Хозяйка слушала, слушала, а потом зацепила полную ложку горчицы и сказала:

— Съешь, Пелагеюшка, горчицу — я тебе платье дам.

Хозяйка была насмешница из насмешниц. Сам Анплей Степанович тоже любил пошутить. И сыновья у него были большие шутники. Как-то был случай: Анплей Степанович велел им отвезти в аул пастухам-киргизам два куля муки. Сыновья отвезли. С неделю, однако, киргизы ели эту муку — черпали пиалами из мешков и пекли лепешки. А как дочерпали второй мешок до дна — увидели там дохлого трехмесячного поросенка. Чушку, по-ихнему. После такого дела весь кишлак переблевался, вывернуло их, бедных, наизнанку. Киргизы, от мала до велика, валялись зеленые и на дух ничего не принимали.

Старшина ихний, когда маленько отдышался, сел на белого коня и поехал к Анплею Степановичу жаловаться. Но до места не доехал. Возле озера столкнулся он с сыновьями Анплея Степановича. Те как раз лазали по брюхо в воде — ставили мордушки. Тут у старшины душа, видать, не стерпела — он погнал лошадь прямо в озеро и начал хлестать этих бугаев плеткой, хрипя и ругаясь по-своему. Сыновья Анплея Степановича сначала прикрывали уши руками, ныряли, а потом рассмотрели, что это всего-навсего сухонький старикашка, стащили его с коня и принялись курять. Они топили его с головой и держали там, зажав ногами, пока он, нахлебавшись воды, не затихал. Тогда братья поднимали старика, давали ему глотнуть воздуха и опять куряли. В общем, накопали они его до посинения, кинули поперек седла и турнули коня в обратную сторону.

Вот такие, значит, они были шутники. Но это — к слову. А в тот раз пошутила ихняя мамаша. Съешь, дескать, Пелагея, ложку горчицы — я тебе платье дам.

— А какое платье дашь? — спросила Пелагея вроде бы с интересом.

— Ну, хоть ситцевое, в горошек.

— А праздничное не дашь?

— За праздничное, девка, две ложки.

— Черпай, — согласилась Пелагея.

Хозяйка, смеясь, зачерпнула вторую ложку.

— Теперь, — сказала Пелагея, нехорошо ощерясь, — намажь себе задницу! Как раз на всю хватит...

На другой день сгинула рыжая кобыла. Дед Дементий двое суток мотался по степи с уздечкой — искал. И не нашел. Пелагея извелась вся, плакала потихоньку. Про себя грешила Пелагея на хозяйку: она, мол, толстомаяся, подучила пастухов, киргизню свою отчаянную. Дементию же про свои догадки и про то, как хозяйку за горчицу обрезала, не говорила — боялась.

К концу вторых суток Анплей Степанович вышел после ужина во двор, глянул на уставшего работника и, ковыряя в зубах прутиком, сказал:

— Зря, Дементий, ноги бьешь. Поди, ее давно уж киргизы на махан пустили. Или волки задрали. —

При этом разбойничьи его цыганские глаза лениво смеялись.

«У тебя, туды твою в мышь, целая тыща их, а чтой-то ни одна на махан не попала. И волки не дерут», — подумал Дементий, но смолчал.

— Ты, паря, — опять заговорил хозяин, — имай другую, вот что. Отработаешь — куда тебя девать.

Дед Дементий поймал другую лошадь, опять кобылу и опять рыжую, только в белых чулках — для приметности.

Вторая кобыла пошла на махан через неделю. Расстроенный Дементий заявился к хозяину и сказал:

— Попытать разве еще?

— Попытай, паря, попытай, — разрешил Анплей Степанович.

— Я, Анплей Степанович, — сказал Дементий, — к табуну больше подпускать тогда не буду. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, а только сомнение меня берет. Так что буду в пригоне держать.

— А держи, паря, держи. Места не жалко.

— Дурак-башка, Демка! — сердито сказал пастух-киргиз, выловив из косяка мосластого рыжего жеребца (дед Дементий пристрастный был к этой масти). — Дурак-башка! Тьфу!.. Не ты коня арканишь, тебя Анплей арканил, собака!

— Чего мелешь! — буркнул Дементий. Хотя про себя подумал, что, скорей всего, так оно и есть: свил ему Анплей аркан. Но, с другой стороны, и без коня ему здесь на ноги не подняться.

...Рыжий жеребец ушел из пригона через несколько дней. И не вернулся: ни на двор, ни к табуну.

Тогда Дементий сел и, напрягая голову, стал считать. Получалось, что кругом ему петля. Избы нет — живет с ребятишками у Анплея в дырявом сарае. Земли нет — сибиряки за приписку просят по тридцать рублей с души, а это такие деньги, что у Дементия аж в животе жарко становится, как он про них подумает. Коня нет, да еще за трех отработывать надо. Клади, значит, два года. Если не больше.

«Ах, туды твою в мышь! — схватился за бороду Дементий. — Оплеп чертов Кыргыз!.. На вольные земли ехал, а попал хуже, чем в тюрьму!.. Разве поджечь его в такую голову, завязать глаза да бежать?.. Подожду живодера — один теперь конец!»

Но не пришлось Дементию завязывать глаза и бежать от нужды. Как-то однажды заголосила вдруг хозяйка. Она выла и причитала полдня, и так страшно, что Пелагея, которая после горчичной размолвки в хозяйский дом не заглядывала, решила про себя: «Это Анплей помер. Ей-богу. Ишь ведь кричит, как будто ее железом жгут».

Однако живой и целый Анплей Степанович вечером зашел в сарай к Гришкиным. Зашел первый раз за все время.

Он потоптался у порога, зыркнул туда-сюда глазами и сказал, глядя вверх Дементия:

— Айда, паря, в дом. Хозяйка, слышь, пельменей настряпала.

Дементий ушел с Анплеем Степановичем, а Пелагея осталась сидеть с разинутым ртом. То, что Анплей позвал работника на пельмени, само по себе было невиданным делом. Но еще больше Пелагею поразило другое: когда хозяйка успела пельменей настряпать, если она с самого обеда ревела дурнинушкой?..

А вскоре деда Дементия забрили на японскую войну. Сыновья и работники Анплея Степановича раскатали по бревнышку сарай, в котором жили Гришкины, и за три дня поставили на облюбованном дедом Дементием месте сруб. Работали, понятно, день и ночь. Крыши, правда, над домом не было, не было пока окон и печки, но зато рядом, в загородке из жердей, стояли два коня и корова с теленком.

...Дед Дементий провоевал три года. То есть воевал он полгода, два года сидел в японском плену и еще полгода выбирался обратно.

Деревню Землянку Дементий не узнал. Вместо одной безымянной улицы, тянувшейся вдоль речки Бурлы, увидел он громадное село с улицами Полтавской, Курской, Орловской, Воронежской, Псковской и Тульской. Видать, понаехавшие мужики не задаром здесь строились и селились — у Анплея Степановича топтало степь уже полторы тысячи коней.

Бабка Пелагея тоже не сплеховала — приумножила хозяйство. Теперь у него было три коня, четыре коровы, двенадцать штук овец, а кроме того — свиньи, куры и гуси. Старшего сына Гришку Пелагея оженала неполных шестнадцати лет, невесту выбрала ему тихую, безотказную и так впрягла молодых в работу, что от них только пар шел.

Словом, довоенный подарок Анплея Степановича попал в цепкие руки, хотя и в бабы. В деревне бабку Пелагею за жадность, злость и двужильность прозвали Яга. Еще говорили про нее: «Пелагея ши из топора варит и сама цыпляет высиживает».

Про деда Дементия и его семейство

Дед Дементий во многих отношениях был человеком странным и необыкновенным. Взять хотя бы его ремесло. Ну ладно, дома, на Тамбовщине, от него было одно расстройство. Но здесь-то, в Сибири, дед мог не колотиться из-за земли и скотины, а начать вместе с братом Мосеем свое дело. Наверняка тогда они очень скоро взяли бы всех односельчан за хрип и жили потом как сыр в масле. Дед, однако, свое ремесло ничуть не ценил. Он тянулся ко всякой животине, а больше всего обожал коней и собак. Коней

дед Дементий любил преимущественно рыжих, а в собаках его восхищали рост и сила. «Ты, Дементий, — говорили ему мужики, — кобелей выбираешь ровно как в оглобли». На своем пристрастии к рослым собакам дед однажды крепко погорел, но про это речь будет дальше.

Имел дед Дементий еще один талант — был прирожденным стрелком. И опять же никак не пользовался своим умением. Другие мужики в овцу с десяти шагов попасть не могли, а все же промышляли. Вокруг Землянки столько водилось зверя и птицы — с зажмуренными глазами стреляй, не промахнешься. Дед Дементий охотиться не любил. Имелась у него, правда, расхлестанная берданка, но чтобы из нее стрельнуть, надо было крепко примотать затвор веревочкой — иначе он мог выскочить и покалечить стрелка.

Вообще, деду Дементию его великое искусство приносило одни огорчения. Единственный раз за всю жизнь он поохотился. Случайно. Шел как-то с берданкой вдоль озера и увидел вдруг, что на прогалинку выплыла семья уток. Впереди кряква, а за ней — по двое, плотно друг к дружке, весь выводок — восемь штук. Ну прямо солдатский строй! Дед приложился, выстрелил — и все девять уток перевернулись кверху лапками... Веврочки у Дементия не нашлось — связать уток. Пришлось ему снять подштанники, перетянуть их возле шиколоток травой и попихать туда свою неожиданную добычу. В таком виде, с неприличным мешком через плечо, он и примаршировал домой. В деревне деда Дементия подняли на смех. Во-первых, за подштанники, а во-вторых, за рассказанную небылицу. Вот это, дескать, отлил пулю — с одного выстрела девять уток! И как дед ни объяснял, что утки, мол, кучкой плыли, а дробь, наоборот, видать, широко рассыпалась, — никто в такую байку не поверил, и долго потом над ним измывались на разный лад.

Еще более обидный случай произошел с ним на японской войне. Точнее, не на самой войне, а перед ней — еще на учениях.

Дело было на стрельбище. Каждому солдатику раздали по три патрона, стрелять надо было с колена, в мишень. Дед Дементий отстрелялся раньше всех и, не поднимаясь с колена, задумался. Задумался и, может, даже придремал. И тут бухнул по первому разу долго маявшийся рядом сосед. Дед Дементий от неожиданности вскинулся. В этот момент проходивший сзади поручик смазал его по уху. Так влепил, что голова у деда чуть не отлетела прочь.

— Ворона, мать твою! — сказал поручик. — Сосед стреляет, а ты вздрагиваешь! Где ж тебе самому попасть, скотина! Мишень со страху не разглядишь!

Тогда сидевший поодаль писарь осмелился вмешаться.

— Гришкин, ваше благородие, — заметил он, — обыкновенно пулю в пулю кладет.

Поручик крякнул и отошел.

А у деда Дементия два дня сочилась из уха кровь и звенело в голове.

Был дед Дементий также страшно отчаянным мужиком. Не боялся ни зверя, ни человека, ни Господа Бога — никого.

Причем смелость его, при незлобivosti характера, была не натужной, а легкой, бездумной какой-то. Дед Дементий просто не знал страха — и все.

Когда братья Краюхины, Лука и Абрам, дрались при разделе, когда они, накатавшись по двору, выскочили в лохмотьях и крови на улицу и стали с разбегу биться кольями, — никто не рискнул их разнять. А Дементий рискнул. Он, хоть сам невысокий ростом был и дробный, легко раскидал братьев в разные стороны. А когда Лука с Абрамом, опамятавшись, двинулись с кольями на разнимщика, дед Дементий не побежал. Стоял, задрав бороду, и дожидался. А потом быстро нагнулся, зачерпнул в обе руки песочку и разом кинул братовьям в глаза. Тогда же и другие мужики набежали, связали ослепших Луку и Абрама.

А еще раньше, когда дед Дементий только с японской войны воротился, начал было прижимать его Анплей Степанович. У Кыргыза такой был порядок: если кто-то из расейских мужиков за приписку платить отказывался, а дом ставил, Анплей ему ничего не говорил, а как бы невзначай прогонял через его усадьбу табун коней голов в триста. После этого мужик понимал, что ему в Землянке все равно не жизнь, и сам подавался куда глаза глядят.

После войны цены на приписку выросли, и Анплея стала заедать жадность. Он, видать, не мог стерпеть, что Гришкин обжился в Землянке вроде как бесплатно. И однажды, на зорьке, прогнал табун. Кони истолкли в труху плетень, разворотили пригон, закопытили насмерть трех овец и все в ограде смешали с грязью.

Дед Дементий шум поднимать не стал. Он сделал новый плетень и принялся, потюкивая топором, чинить пригон.

Но не дочинил. Анплей Степанович через сколько-то дней опять велел прогнать табун.

И нашла коса на камень. Дементий еще старую обиду вспомнил, когда Анплей хотел его, расейского голодранца, навек в батраках присушить. Он снова заплел плетень, а ночью нарыл вдоль его волчьих ям. Рано утром загудела земля от копыт (дед Дементий на двор не стал выходить, в избе прислушивался), закричали, забились кони, а потом испуганный табун шарахнулся, видать, в сторону — только стукоток пошел по степи.

Когда совсем рассветало, прискакал к усадьбе Гришкиных сам Анплей Степанович. А с ним — пять

его головорезов-пастухов. Все с ружьями. Дед Дементий уже дожидался их. Стоял возле нетронутого плетня, держа под мышкой свою бердану.

— Дементий! — сказал почерневший Анплей (конь под ним плясал). — Дементий!.. Предупреждаю! — и показал пальцы, сложенные крестом.

— А ну, вертай назад! — тонко закричал дед Дементий. — Вертай, туды твою в мышь, а то я тебя щас с коня ссажу!

Работник Анплея Степановича, собака его Пашка Талалаев, полукиргиз-полурусский, сдернул с плеча ружье. Но только и успел, что сдернуть. Дед Дементий выстрелил раньше — и ружье Пашки Талалаева с расщепленным ложем кувыркнулось в синем небе...

Через час приехали уже только одни работники. И не верхами, а на двух пароконных бричках. Приехали, чтобы прирезать и забрать поломавших хребты лошадей. Не пропадать же скотине.

Вот каким бесстрашным человеком был дед Дементий.

Но, с другой стороны, дед был невозможный трус. Он боялся всяческого начальства, особенно же полиции, а впоследствии милиции. Милиции он боялся до тошноты, до расстройства живота. Бабку Пелагею, например, — когда дед принимался «учить» ее за тяжелый нрав, — только и можно было отбить напоминанием про милицию. Бывало, дед войдет в азарт: в избе пыль до потолка, крик, топот, и уж, кажется, ни крестом, ни молитвой Дементия не унять. Тогда кто-нибудь из детей выглянет в окно и нарочно испуганно скажет:

— Ой, тятя, кажись, к соседям милиционер приехал! Вроде его лошадь стоит.

Дед бледнел, глаза его суеверно округлялись, и весь он становился слабый и послушный, как после тяжелой болезни. Обыкновенно он лез в такие моменты на печь и с головой закрывался тулупом.

И еще одно дело — временами на деда Дементия находило. Это уж с ним началось ближе к старости. Допустим, ночью на заимке выйдет он до ветру, присядет в полынях и задумается. А тут потянет легкий ветерок, полыни зашумят — и покажется деду, что попал он в дремучий лес. Вскочит он, штаны в горсть зажмет — и бегом к землянке. А навстречу ему, из тумана, — вдруг конный с палкой в руках. Бывало, дед, всклокоченный, очертневший, так и проблукает всю ночь кругом землянки, проаукает. И только на свету разберет, что никакого леса рядом нет, одни полыни, и конного нет, а просто стоит телега с задранной вверх и подпертой дугой оглоблей. Сам же он вчера для чего-то ее и подпер, старый дурак.

Про жену деда Дементия, бабу Пелагею, рассказ будет короче. Такая это была отрава, что много говорить о ней язык не поворачивается. Даже снаружи на

бабку смотреть не хотелось, хотелось скорей зажмуриться. Была Пелагея костлявая, крючконосая, поцыгански черная и злющая, как цепная собака.

— Ведьма! — не раз говорил дед. — Не сдохнешь ты, ведьма, не дашь мне спокойно с детьми пожить!

И еще другое говорил дед с обидою:

— Ведь я на тебе, туды твою в мышь, не женился. Шапка моя на тебе женилась.

Когда-то на самом деле так и было. Дементий не хотел брать Пелагею. Ни боем, ни уговорами его не могли заставить ехать к ней. Тогда сваты поехали одни, а вместо жениха взяли шапку его. За шапку и сосватали.

Все же — забегая далеко вперед, скажем — дед с бабушкой прожили рядом почти всю жизнь, народили и вырастили восьмерых детей, не считая еще двоих, умерших в младенчестве. Сыновей у них было трое.

Первенец, Григорий, в детстве шибко болел оспой-ветрянкой. Валялся он много дней в беспмятстве, весь обметанный, и глаз не мог расцепить. Пелагея выла над ним, боялась, что умрет.

— Деточка ты моя родная! — причитала она. — Закрылись твои глазыньки! Ой, да не видишь ты свету белого! — А потом взяла, темная баба, и разлепила ему пальцами левый глаз — пусть, мол, хоть одним проглянет.

С тех пор Григорий окривел. И то ли из-за этого изьяна, то ли уж такой характер удался, но вырос Григорий парнем угрюмым и лютым. А потом, когда мужиком стал, к лютоści этой прибавилась у него волчья хозяйская хватка. Григорий скоро сообразил, что грести надо к себе, а не от себя, отделился от отца и, зажив своим домом, за несколько лет превратился в настоящего кулака. Правда, надорвался сам, заморил и затюкал ребятишек, а жену, Ольгу, согнул в колесо, старуху из нее сделал. С родней Григорий не якшался, в праздники не гулял, ходил зиму и лето в одном и том же рваном картузе и задубевшей черной косоворотке.

Между прочим, в Гражданскую войну Григорий крутился какое-то время в партизанах, и, может быть, в дальнейшем мы еще расскажем про этот случай специально.

Второй сын, Прохор, был тихоня и добряк. Из таких мужиков, на которых все, кому не лень, верхом ездят. На Прохоре и ездили. Сам он этого, впрочем, как бы не чувствовал. Не замечал, верхом ли на него садятся или в оглобли закладывают. Не замечал, что бабка Пелагея за столом подсовывает ему, главному в доме работнику, худший кусок; что кобылы-сестры в грош его не ставят и считают за простодырого ваньку; что к праздникам — всем в доме обновки, а ему — те же рваные портки. Да много чего не замечал Прохор. Он мог, например, целый день, уткнув глаза в

землю, проходить за плугом и спохватывался лишь тогда, когда видел, что заехал уже на полосу соседа и тому отмахал с полдесятины. А мог и по-другому. Бывало, остановится посреди полосы, сдвинет на затылок картуз и часа полтора слушает, как заливается жаворонок, — хоть поджигай все кругом. Бабка Пелагея, привыкшая к тому, что Прохор безответно мантулит на семью как вол, в подобные моменты начинала аж из себя выходить.

— Во! — кричала она. — Смотрите на него — встал!.. Распустил слюни-то — черт, мерин, дармоед!

Прохор и этого не замечал.

Редко-редко, когда Прохора уж особенно сильно допекали, он вспыхивал враз, как солома, и тогда становился похожим на деда Дементия — мог все сокрушить, пожечь и переломать в короткое время. Или, наоборот, сбывчивался, каменел — и никакой силой нельзя было сдвинуть его с места.

Так случилось с женитьбой Прохора. Ему собрались сватать красивую и богатую невесту Настю Окишину.

— Женись сама, — сказал Прохор матери. — Я к ней не поеду.

Бабка Пелагея, вспомнив свое замужество, не растерялась — выдала сватам шапку Прохора. К тому времени поп Гапкин уже сбежал из деревни с колчаковцами, по-новому жениться в Землянке еще не умели — и Настю вместе с сундуками просто перевезли к Гришкиным.

Прохор молодухе не признал. Два дня Настя томилась в горнице и, обиженно ворочая большими коровьими глазами, ела печатные пряники. На третий день разыскала Прохора и боязливо сказала:

— Прощ, а Прощ... Праздник завтри... К тятке с мамкой съездить бы...

— Езжай, — равнодушно ответил Прохор.

Дед Дементий, молчком сочувствующий сыну, запряг лошадь и повез Настю к родителям. Прохор открыл и придержал ворота. Когда сани поравнялись с ним, буркнул Насте:

— Назад можешь не вертаться.

А через несколько дней он сказал отцу с матерью:

— Посылайте сватов.

— К кому-то? — спросила бабка Пелагея.

— К тетки Комарихи дочке, Кургузовой работнице.

У тетки Комарихи — Евдокии Комар — после того, как муж ее погиб в Гражданскую, осталось на руках четверо детей. Евдокия сама пошла по людям работать и старшую дочь Татьяну (ей тогда всего двенадцать лет было) в няньки отдала. Вот про эту Татьяну, которая теперь батрачила у кулака Игната Кургузого, и говорил Прохор.

Бабка Пелагея каталась по полу, царапала лицо, кричала:

— Не хочу работницу! Не хочу голодранку!

Но ничто не помогло.

Тогда Пелагея заперла в сундук шапку Прохора. Ехать свататься без шапки считалось большим позором.

Прохор оседлал коня и поехал сам. Он ехал сватать Татьяну Комар, чернобровую работницу Игната Кургузого. Ехал на виду всей деревни один, в легоньком летнем картузе, и уши его на морозе упрямо горели как два фонаря...

Младший сын, Серега, был, как в сказке, дурак. Но не такой дурак, на которых воду возят. Бабка Пелагея в последыше Сереге не чаяла души. Он это рано усек и вырос нахальным лентяем. Серега — невиданное в деревне дело — спал до обеда, был горлохват и хвастун, тиранил сестер и мать.

Чуть только Серега вытянулся, чуть сопли у него подветрели, как он потребовал у отца гармошку и хромовые сапоги. Начистив сапоги до блеска, насадив сверху калоши, выпустив чуб из-под фуражки, Серега белым днем выходил с гармошкой на улицу и шел козырем, оглядываясь на собственную тень. Играть, кроме «тына-тына у Мартына», он ничего так и не научился, и в деревне про Серегу говорили: «Вон Гришкина корова пошла-замычала».

Если к этому добавить, что дед Дементий вырастил еще пять дочерей и что были среди них и скромницы, и лапушки-красавицы, и горластые завистливые дуры, — то можно подумать, будто дед Дементий в малой капле, в лукошке, всю Россию норовил произвести на свет — с красотой ее и умом, с юродством и ленью, с удалью и темнотой. Да маленько промахнулся. Кое в чем недобрал, а кое в чем переборщил.

В деревне и то, глядя на Гришкиных ребят, смеялись: Дементий с Пелагеей, — говорили, — похоже, поврозь стараются — каждый для себя и другому поперек.

Один день из жизни села Землянки

Начался этот чудной день обыкновенно: выпорхнул, как воробей из-под застрехи, перышки почистил и зачирикал про свои мелкие дела. Дед Дементий Гришкин, к примеру, собрался резать кабана и позвал на помощь свата своего Егора Ноздрева, большого мастака по этой части. Сват Егор пришел не медля, достал из-за голенища непомерной длины нож и начал опасно махать — показывать разные бойцовские приемы: как надо хватать кабана за переднюю ногу, как переворачивать и с маху колоть под лопатку.

— В сердце надо! — подступал к деду Дементию с ножом сват Егор. — В самую, значит, середку! Не дай